

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

Описывай, не мудрствуя лукаво.

Пушкин 310

Начиная четвертый год своего существования, «Московский наблюдатель» хочет, наконец, поправить перед публикою свою вину, истинную или мнимую, отвратить от себя ее упрек, заслуженный или незаслуженный: полная по возможности библиография отныне будет его постоянною статьею ²⁴¹. Не знаем, интересно ли будет публике — этому грозному властелину-невидимке, присутствие которого всякий видит во всем и везде, а никто не может указать, в чем и где оно именно, этому образу без лица, которому всякий, по своей воле и прихотям, дает и приписывает и волю и прихоти; не знаем, интересно ли будет публике, в каждой новой книжке журнала, находить себе новое доказательство, что для нее книг пишется много, а читать ей попрежнему — нечего. Но... нам что до этого? «Публика этого хочет», — говорят нам — и мы хотим исполнить ее желание. Нам часто случалось еще слышать и читать, что публика требует от журнала не одной критики и библиографии, но и полемических браней и схваток; но мы никогда этому не верили, сколько по уважению к *публике*, которую мы всегда отделяли от *толпы*, столько и потому, что мы никогда не любили рассчитывать своих успехов на счет своих убеждений, а низкую угодливость смешивать с добросовестным усердием ²⁴². Поэтому благомыслящие читатели попрежнему могут брать наш журнал в руки, не боясь замарать их... Обозревая область литературной деятельности, мы смело будем называть хорошее хорошим, а дурное дурным, с удовольствием останавливаясь на первом и стараясь проходить красноречивым молчанием второе, особливо если оно принадлежит к тем мимолетным и

призрачным явлениям, которые не производят никакого влияния и не оставляют по себе никаких следов. Равным образом мы попрежнему предоставляем другим отыскивать промахи и ошибки своих собратий по журнальному ремеслу и попрежнему не отказываемся от благородного спора, чуждого личности и желания мелкого торжества. Сделать замечание или даже и возражение на мысль, которая нам кажется ложною, и подлавливать, как добычу для дневного пропитания, чужие обмолвки или промахи — две вещи, совершенно различные.

Мы должны бы начать наше обозрение с литературных явлений настоящего года; но, на первый раз, мы позволим себе небольшое уклонение от предполагаемого плана в пользу нескольких более или менее примечательных произведений прошлого года, о которых нам приятно поговорить. Начинаем с «Современника»: не говоря о том, что это периодическое издание более похоже на альманах в четырех частях, нежели на журнал, — оно влечет к себе наше внимание предметом, близким к русскому сердцу: мы разумеем стихотворные произведения и отрывки Пушкина, напечатанные в «Современнике» после смерти их великого творца. Предмет, отрадный и грустный в то же время! С одной стороны — мысль, что эти посмертные произведения свидетельствуют о новом, просветленном периоде художественной деятельности великого поэта России, об эпохе высшего и мужественнейшего развития его гениального дарования; а с другой стороны — мысль о том жалком воззрении, с каким смотрело на этот предмет детское прекраснодушие, которое, выглядывая из узкого окошечка своей ограниченной субъективности, мерит действительность своим фальшивым аршином и, осудивши поэта на жизнь под соломенною кровлею, на берегу светлого ручейка, не хочет признавать его поэтом на всяком другом месте: какое противоречие, и сколько отрадного и горького в этом противоречии!..

Мнимый период падения таланта Пушкина начался для близорукого прекраснодушия с того времени, как он начал писать свои сказки. В самом деле, эти сказки были неудачными попытками подделаться под русскую народность; но, несмотря на то, и в них был виден Пушкин, а в «Сказке о рыбаке и рыбке» он даже возвысился до совершенной объективности и сумел взглянуть на народную фантазию орлиным взором Гёте. Но если бы эти сказки и все были дурны, одной «Элегии»*, напечатанной в «Б. для Ч». за 1834 год²⁴³, достаточно было, чтобы показать, как смешны и жалки были беспокорства добрых людей о падении поэта; но... да и кто не был, в свою очередь, *добрым человеком?*..²⁴⁴ Стихотворения, явившиеся в «Совре-

* Та самая, что приведена в первой статье этого № стр. 19.

меннике» за 1836 год, не были оценены по достоинству: на них лежала тень мнимого падения. Так, например, сцены из комедии «Скупой рыцарь» едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят, это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат к лучшим его созданиям. А его «Капитанская дочка»? О, таких повестей еще никто не писал у нас, и только один Гоголь умеет писать повести, еще более действительные, более конкретные, более творческие — похвала, выше которой у нас нет похвал!

Первое, что с особенною, раздирающею душу грустию поражает читателя, в V томе прошлогодного «Современника», это письмо В. А. Жуковского к отцу поэта о смерти сына... О, какою сладкою грустию трогают душу эти подробности о последней мучительной борьбе с жизнью, о последней, торжественной битве с несчастьем души глубокой и мощной, эти подробности, переданные со всею отчетливостию, какую только могло внушить удивление к высокому зрелищу кончины великого и близкого к сердцу человека, удивление, которого не побеждает в благодатной душе и самая тяжкая скорбь!.. А это трогательное участие в судьбе великого поэта, которым отозвалась на его несчастье русская душа, в лице всех сословий народа, от вельможи до нищего!.. А это умиляющее и возвышающее душу внимание монарха к умирающему страдальцу, это отеческое внимание, которым венценосный отец народа поспешил усладить последние минуты своего поэта и пролить в его болеющую душу отрадный елей благодарности, мира и спокойствия о судьбе осиротелых любимцев его сердца!.. О, кто после этого дерзнет осуждать неисповедимые пути провидения!.. Кто дерзнет отрицать, что жизнь человеческая не есть высокая драма, во всех ее многообразных проявлениях, и что самое страдание и бедствие не есть в ней благо!..

Вот перечень посмертных сочинений Пушкина, помещенных в четырех томах «Современника»: три поэмы — «Медный всадник», «Русалка» и «Галуб», из которых только первая вполне окончена; две пьесы прозою и стихами вместе — «Сцены из рыцарских времен» и «Египетские ночи»; два прозаических отрывка: «Арап Петра Великого» и «Летопись села Горохина»; потом примечательная критическая статья: «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»; кроме того, несколько мелких стихотворений, частью не dokonченных, и отдельных мыслей и замечаний.

Мы не будем критически рассматривать этих произведений, потому что если уж говорить о них, то надо все говорить, для чего мы не имеем ни времени, ни места. Мы скажем или, лучше, повторим о них уже сказанное нами — что, по их количеству и величине, они составят собою целый том, а этот том будет представителем совершенно нового периода высшей, просветленной художнической деятельности Пушкина. По это-

му самому они не для всех доступны, и в этом самом и заключается причина поспешного приговора толпы о падении поэта. В самом деле, чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать вполне их таинственный смысл и войти во всю полноту и светозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт *внутренней* жизни и вытти из борьбы прекрасноты в гармонию просветленного и примиренного с действительностью духа. Повторяем: примирение путем объективного созерцания жизни — вот характер этих последних произведений Пушкина²⁴⁵. Не почитаем за нужное прибавлять, что *народность*, в высшем значении этого слова, как выражение *субстанции* народа, а не тривиальной *простонародности*, составляет также характер этих последних звуков этого замогильного голоса: Пушкин всегда был самобытен, всегда был русским поэтом, даже и тогда, когда находился под чуждым влиянием.

Формы его произведений все так же художественны, но это уже не тот бойкий стих, который, как рассыпавшийся луч солнца, сверкал и играл по жизни: нет, последние стихи Пушкина — это волны бытия, проходящие перед упоенным взором зрителя в спокойном величии. Если вы не читали «Медного всадника», то, чтобы заставить вас прочесть его, просим вас взглянуть в неисчерпаемую глубину сокровенной красоты его, хоть вот в этом отрывке:

. Боже, боже! там —
Увы, близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашенный, да ива
И ветхий домик: там они,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка рока над землей?
И он как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода — и больше ничего!
И обращен к нему спиною
В неколебимой вышине.
Над возмущенною Невою
Сидит с простертою рукою
Гигант на бронзовом коне.

А этот хор русалок —

Веселой толпою
С глубокого дна
Мы ночью всплываем;

Нас греет луна.
Любо нам порой ночью
Дню речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать,
Подавать друг дружке голос,
Воздух звонкий раздражать,
И зеленый влажный волос
В нем сушить и отряхать.

Не правда ли, что этот дивный хор — совершенно новое явление все той же неистощимой жизни, совершенно новый аккорд все той же неисчерпаемой любви?.. Но мы еще передернем декорацию жизни и покажем ее новые стороны: вот рыцарская баллада —

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Он имел одно виденье,
Непостижное уму;
И глубоко впечатление
В сердце врезалось ему.

С той поры, сгорев душою,
Он на женщин не смотрел;
Он до гроба ни с одною
Молвить слова не хотел.

Он себе на шею четки
Вместо шарфа навязал,
И с лица стальной решетки
Ни пред кем не подымал.

Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
А.М.Д. своею кровию
Начертал он на щите.

И в пустынях Палестины,
Между тем как по скалам
Мчались в битву паладины,
Имснуя громко дам,

Lumen coeli, sancta Rosa! * —
Воскликнул он, дик и рыан,

* Свет небес, святая роза! — *Ред.*

И как гром, его угроза
Поражала мусульман.

Возвратясь в свой замок дальний,
Жил он строго заключен,
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.

С такою глубинокстю, с такою вернокстю и в такой небольшой пьеске схватить одну из главнейших сторон средних веков, этого религиозного периода человечества, когда и слава, и мужество, и любовь, и все, все было религиею!.. Кто мог это сделать? — Пушкин!

Читали ли вы его «Галуба»? Вот отец, чеченец, хоронит своего могучего сына, удалого наездника, опору своей старости; кладет с ним в гроб все его оружие,

Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.

Схоронивши одного сына, Галуб встречается другого: его привел к нему старец, воспитывавший его. Но Галуб вскоре недоволен своим другим сыном. Однажды узнает он, что сын его встретил в своих разъездах армянина и не привел его на аркане с добычею. В другой раз узнает он, что сын его встретил бежавшего раба и оставил его невредимым.

«Нет, мыслит он, не заменит
Он никогда другого брата:
Не научился мой Тазит,
Как шашкой добывают злата;
Ни стад моих, ни табунов
Не наделят его разъезды;
Он только знает без трудов
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с нагайками быками
И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать».

В третий раз Галуб узнает, что Тазит встретил убийцу своего брата.

Отец.

Убийцу сына моего?
Тазит! где голова его?
Дай наглажусь!

Сын.

Убийца был
Один, изранен, безоружен...

Отец.

Ты долга крови не забыл...
Врага ты навзничь опрокинул...
Не правда ли, ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул?
Упился ты его стонаньем,
Его змеиным издыханьем?..
Где ж голова? подай... нет сил...

Отец проклял своего сына и прогнал его от себя.

В черкесском селе праздник; молодежь забавляется воинскими потехами; жены и девы поют.

Но между девами, одна
Молчит, уныла и бледна...
.
В толпе стоят четою странной,
Стоят, не видя ничего.
И горе им: он — сын изгнанный,
Она — любовница его...
О, было время!.. с ней укладкой
Видался юноша в горах,
Он пил огонь отравы сладкой,
В ее смятении, в речи краткой,
В ее потупленных очах.
Когда с домашнего порогу
Она смотрела на дорогу,
С подружкой резвой говоря,
И вдруг садилась и бледнела,
И отвечая не глядела,
И разгоралась как заря, —
Или у вод когда стояла,
Текущих с каменных вершин,
И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла...

«Египетские ночи» принадлежат также к самым дивным произведениям Пушкина, и в лице его Чарского догадливые читатели найдут для себя много данных для разгадки поэта...

Все мелкие стихотворения отличаются тем же общим чувством просветления, примиренного с самим собою духа, вышедшего с честью из опасной борьбы. И кто бы усомнился в этом, прочтя эту трогательную исповедь души, страждущей и блаженной в своем страдании —

Отцы пустынники и жены непорочны,
 Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
 Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
 Сложили множество божественных молитв;
 Но ни одна из них меня не умиляет,
 Как та, которую священник повторяет
 Во дни печальные великого поста;
 Всех чаще мне она приходит на уста
 И падшего свежит неведомою силой:
 Владыко дней моих! дух праздности унылой,
 Любоначалия, змеи сокрытой сей,
 И празднословия не дай душе моей;
 Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
 Да брат мой от меня не примет осужденья,
 И дух смирения, терпения, любви
 И целомудрия мне в сердце оживи.

Но особенного внимания заслуживает стихотворение «Герой», напечатанное в «Телескопе» 1831 года и написанное в ту минуту тяжкого испытания для России, когда свирепствовала в ней холера и когда наш царь, не дожидаясь от медиков решения вопроса о заразительности этого морового поветрия, приехал ободрить унылую Москву, древнюю и верную столицу своих отцов... Это стихотворение, кроме своего высокого поэтического достоинства, драгоценно еще и как доказательство благородных, истинно русских чувствований Пушкина, и только по смерти его стало известно, что оно принадлежит ему...

«Арап Петра Великого» есть отрывок из предполагавшегося Пушкиным романа, и, как отрывок, он уже не новость, потому что был давно напечатан в каком-то альманахе, а в «Современнике» он помещен в большем виде, почему и составляет собою новость²⁴⁶. Как жаль, что Пушкин не кончил этого романа! Какая простота и вместе глубокость, какая кисть, какие краски! Да, если бы Пушкин кончил этот роман, то русская литература могла бы поздравить себя с истинно художественным романом; «Летопись села Горохина», в своем роде, чудо совершенства, и если бы в нашей литературе не было повестей Гоголя, то мы ничего лучшего не знали бы.

Статья Пушкина «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая» чрезвычайно интересна: она знакомит нас с Пушкиным не столько как с критиком, сколько как с человеком, у которого был верный взгляд на искусство вследствие его верного и бесконечного эстетического чувства. В этой статье метко и резко показывает он отсутствие именно этого чувства у господ французов и, в доказательство, представляет факты, как безбожно терзали бедного Мильтона корифеи французской литературы — дикий г. Гюго в своей «чудовищной и нелепой» драме «Кромвель» и чопорный аббатик XIX века,

граф де Виньи, в своем «облизанном» романе «Saint Mars». Едко смеется Пушкин над последним, когда тот заставляет бедного Мильтона читать отрывки из поэмы на вечере у Марии де Лорм.

Хорошо (говорит Пушкин); да как же французы, не зная английского языка, поймут мильтоновы стихи? Очень просто: места, которые он будет читать, переведены на французский язык, переписаны на особых листочках, и списки розданы гостям. Мильтон будет декламировать, а гости следовать за ним. Да зачем же ему беспокоиться, если уже стихи переведены? Стало быть, Мильтон великий декламатор или звуки английского языка чрезвычайно любопытны? а какое дело графу де Виньи до всех этих нелепых несообразностей; ему надобно, чтоб Мильтон читал в парижском обществе свой «Потерянный рай» и чтоб французские умники над ним посмелились и не поняли духа великого поэта.

Мильтон, несмотря на то, что назначенные места для чтения переведены и что он должен читать их по порядку, ищет в памяти своей то, что, по его мнению, более произведет действия на слушателей, не заботясь о том, поймут ли его, или нет. Но посредством какого-то чуда (неизъясненного г-м де Виньи) все его понимают. Де Барро находит его приторным; Скюдери — скучным и холодным; Мария де Лорм очень тронута описанием Адама в первобытном его состоянии; Мольер, Корнель и Декарт осыпают его комплиментами и пр. и пр.

Или мы очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через Париж, не стал бы показывать себя, как заезжий фигляр, и в доме непотребной женщины забавлять общество чтением стихов, писанных на языке, неизвестном никому из присутствующих, жеманясь и рисуясь, то закрывая глаза, то взводя их в потолок. Разговоры его с Де Ту, с Корнелем и Декартом не были бы пошлым и изысканным пустословием; а в обществе играл бы он роль, ему приличную, скромную — роль благородного, хорошо воспитанного молодого человека.

После удивительных вымыслов Виктора Гюго и графа де Виньи хотите ли видеть картину, просто набросанную другим живописцем? Прочтите в «Вудстокс» встречу одного из действующих лиц с Мильтоном в кабинете Кромвеля.

Французский романист, конечно, не довольствовался бы таким незначашим и естественным изображением. У него Мильтон, занятый государственными делами, непременно терялся бы в пиитических мечтаниях и на полях какого-нибудь отчета намарал бы несколько стихов из «Потерянного рая»; Кромвель бы это подметил, разбранил бы своего секретаря, назвал бы его стихоплетом, вралем и пр., и из того бы вышел эффект, о котором бедный Вальтер Скотт и не подумал!

Жалеем, что место не позволяет нам более делать выписок из этой превосходной статьи. Но не можем удержаться, чтобы не выписать следующего места из «анекдотов и замечаний»:

Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих стра-

стей, многих пороков; обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосложные характеры. У Мольера скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря: принимает имение под хранение, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!

Повторяем: во всем этом виден не критик, опирающийся в своих суждениях на известные начала, но гениальный человек, которому его верное и глубокое чувство или, лучше сказать, богатая субстанция открывает истину везде, на что он ни взглянет. А как поэт, Пушкин принадлежит, без всякого сомнения, к мировым, хотя и не первостепенным, гениям. Да и много ли этих первостепенных гениев искусства? — Омир (мифическое имя), Шекспир, Гёте, Бетховен, и не знаем, право, кто в живописи. И несмотря на то, читая, а особенно слушая суждения многих о Пушкине, как о человеке и как о поэте, невольно вспоминаешь его же стихи, которыми оканчивается его превосходное стихотворение «Полководец» —

О, люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиление!

Из не пушкинских стихотворений очень мало хороших в «Современнике»: из оригинальных заслуживает особенное внимание «Цветок» Жуковского. После этого благоухающего ароматом поэзии «Цветка» нельзя не заметить стихотворения Ф. Н. Глинки «Ангел». Из переводных стихотворных пьес замечательны — «Орган» из Гердера А. П. Глинки, и мы пользуемся здесь случаем повторить из «Современника» приятное известие, что переводчица Шиллеровой «Песни о колоколе» готовится к изданию 19 легенд Гердера. Переводы г. Губера из «Фауста» также примечательны; г. Губер печатает вполне переведенного им «Фауста».

Из прозаических не пушкинских статей особенно замечательна — «Солдатский портрет» Грицьки Основьяненко, прекрасно переведенный с малороссийского г. Луганским. Так-то ленивы: а то мы, москали, немного горды, а еще более того ленивы, чтобы принуждать себя к пониманию красот малороссийского наречия, если дело идет не о народной поэзии ²⁴⁷. Ведь

Гоголь умеет же рисовать нам малороссиян русским языком? Уверяем почтенного Грицьку Основьяненка, что если бы он написал свои прекрасные повести по-русски, то, несмотря на мудреную для выговора фамилию своего автора, они доставили бы ему гораздо большую известность, нежели какую он пользуется на Руси, пиша по-малороссийски. Кроме «Солдатского портрета», мы прочли с удовольствием «Сильфиду» кн. Одоевского; «Петербургские записки» неизвестного²⁴⁸, шутку, в которой мило и игриво высказано много правды на счет обеих наших столиц; и, наконец, «Письма совоспитанниц», сочинение дамы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

«Московский наблюдатель», 1838, т. XVI, март, кн. I, стр. 145—159 (ценз. разр. 11 апреля (1838)). Без подписи.

Большая часть рецензий Белинского этого периода помещена в отделе «Литературная хроника». В отличие от библиографического отдела «Молвы» «Хроника» строится как целостный обзор наиболее примечательных литературных явлений; и «не столько новос, сколько примечательное, в каком бы то ни было значении, составляет постоянный и главный предмет библиографического отделения «Наблюдателя» (1836, ч. XVI, кн. II, стр. 599).

Белинский отмечает здесь заслуги Н. Полевого, дает первую и чрезвычайно высокую оценку стихов и прозы еще мало известного Лермонтова, наделенного «высоким поэтическим дарованием». С особым вниманием следит он в этом отделе за появлением каждой новой строки Пушкина. Белинский отрекается от своей прежней недооценки Пушкина и ставит его в ряд величайших мировых гениев (см. также письмо к Н. Станкевичу от 19 апреля 1839 года). Предпосылки этой переоценки — в новом понимании действительности и новом отношении к ней.

Разумеется, Белинский ошибочно отождествлял свое примирение

с «расейской действительностью» с пушкинским приятием мира, но вместе с тем Белинский теперь живет и ощущает величие оптимистической поэзии Пушкина.

Новому отношению к Пушкину способствовало и появление посмертных произведений Пушкина («Медный всадник», «История села Горюхина», «Каменный гость», некоторых стихотворений, например «Памятник» и др.), имеющих огромное значение для полной и более правильной оценки пушкинского творчества. Так возникла надобность в новом освещении и той части пушкинского наследия, которая была неизвестна ранее.

Белинский пишет, что посмертные произведения великого поэта России свидетельствуют о новом периоде его художественной деятельности и об эпохе высшего развития его гения. Сущность поэзии Пушкина он видит и сейчас в «примирении с действительностью путем объективного созерцания» жизни. Но само это созерцание не отгораживается от мрачных сторон действительности. Такие произведения, как «Летопись села Горюхина» (в первой публикации «Горохина»), свидетельствуют, по его мнению, что Пушкин шел по тому же пути, на который позже вступил Гоголь: «Летопись села Горохина» в своем роде чудо совершенства, и если бы в нашей литературе не было повестей Гоголя, то мы ничего лучшего не знали бы». Таким образом, устанавливается Белинским творческая преемственность между двумя величайшими русскими писателями на почве реализма.

²⁴⁰ (Стр. 391). Цитата из «Бориса Годунова».

²⁴¹ (Стр. 391). В предыдущий период «Московский наблюдатель» под редакцией Андросова и Шевырева принципиально отказался от библиографии. Этот недостаток и хочет восполнить Белинский.

²⁴² (Стр. 391). «Толпа» в понимании Белинского — синоним пошлого и ограниченного филистерства. Характерно, что и позже Белинский прибегал к этому понятию, использовал известные стихотворения Пушкина для обличения светских «глупцов», которые смотрят на поэзию, как «на искусство втискивать в размеренные строчки с рифмами разные правоучительные мысли».

²⁴³ (Стр. 392). Элегия «Безумных лет угасшее веселье» (1830).

²⁴⁴ (Стр. 392). Синоним жалкого и пустого человека («добрый малый»).

²⁴⁵ (Стр. 394). Это прямо перекликается со статьей М. Бакунина, который писал, что Пушкин начал борьбу с действительностью, а кончил примирением, ибо «действительность всегда побеждает». «Все думали, что его поэтический гений угас, потух, а он совершил свое великое примирение с действительностью» («Московский наблюдатель», 1838, ч. XVI).

²⁴⁶ (Стр. 398). Пушкин начал «Арапа Петра Великого» летом 1827 года, четвертая глава была напечатана в альманахе «Северные цветы» (1829), отрывок из третьей главы появился в «Литературной газете» (1830). Все написанное Пушкиным (шесть глав и начало седьмой) опубликовано только в рецензируемом томе «Современника». Отрывки вошли, кроме того, в «Повести, изданные Александром Пушкиным» (СПб, 1834).

²⁴⁷ (Стр. 400). Позднее, в связи с тем, что ряд украинских поэтов, и в том числе Шевченко, в силу определенных личных связей, печатались в журнале «Маяк», с которым Белинский вел непримиримую борьбу, мы встретим у Белинского ряд отрицательных отзывов об украинской литературе.

²⁴⁸ (Стр. 401). «Петербургские записки 1836 г.» — Гоголя.